

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

ЖИТЕЛЬ РОДНОГО ГОРОДА

РАССКАЗ

Иван Петрович Коншин всю свою жизнь до войны прожил художником-живописцем. И посейчас в окрестных деревнях Воронежа еще можно увидеть вывески на кооперативных магазинах, на которых нарисованы изделия — свитки мануфактуры, обувь, подковы, топоры, школьные тетради, московские калачи, колбасные круги, бутылки с наливкой, а также слова, именующие сельпо и товары, которые продаются здесь населению, а внизу написано сокращенно имя художника: «Рис. Ив. К.», то есть, рисовал Иван Коншин.

Жил Иван Петрович Коншин на окраине города Воронежа, в слободе Чижёвке. Там у него был деревянный домик в одну комнату и кухню, доставшийся ему от покойных родителей. В нем и жил полвека своей жизни художник Коншин, до самого лета 1942 года, когда в город вошли немцы. При немцах Коншин долго томился, наравне с прочими немногими жителями, которые по немощи или по нечаянности не смогли уйти от врага. На той же тихой улице, где проживал Иван Петрович, остались существовать его старые земляки — портной Авдей Спиридонович с женой-старухой, одинокий персональный пенсионер Евсей Демьянович Киреев, восьмидесяти лет от роду, сапожник Данила Данилович с двадцатилетним внуком Серегой, дурачком от рождения, многодетный кузнец из придорожной колхозной кузницы Воронков Кузьма Семенович и еще два семейства, плотника и слесаря, у которых тоже было у одного шестеро, а у другого семеро душ малолетних детей.

При немцах эти люди старались жить потаенно и незаметно, без нужды не показываясь наружу, однако они держались один другого и помогали друг другу, как родные, в еде, в одежде и в заботе, утешая того, кто ослабевал от долгого страха и тоски по своему народу, который был отделен теперь от них огненным рубежом. Иван Петрович не боялся врагов. Над ним было старое русское небо, на земле росла прежняя трава, и он жил пока что в своем доме, куда еще ни разу не входил немец.

Делать было теперь нечего, шло какое-то промежуточное, пустынное время — накануне ли смерти или накануне возвращения минувшей жизни. Иван Петрович с утра уходил путешествовать по родному городу. Город ему был

давно знаком, образ его известен в подробностях, но сердце Коншина теперь трепетало, когда он ступал по земле, где ходили его ноги в детстве и юности, и разум его был удивлен, словно он видел перед собою первоначально это место на свете.

В лице родины всегда есть новость для чуткого сердца, в ней есть постоянно оживляющее ее своеобразие, как в тайне любви ребенка к матери, для которого мать каждое утро новая и еще более пленяющая, и он прижимается к ней как впервые. Обычно такое чувство испытывает человек перед видением своей родины, которую он оставил давно и ныне снова к ней возвращается. Но Коншин вовсе не оставлял места своей жизни и рождения, однако душа его содрогалась в тревожном счастье близости к милой земле, как после долгой разлуки с нею. Художник понимал свое странное чувство; оно происходило из пленения города врагом, из опасности смерти для родины, из того, что порабощенная земля, как больной, истомленный человек, делается еще более прекрасной для того, кто ее прежде и всегда любил.

Иван Петрович тихо шествовал по обезлюдевшим улицам, мимо домов, где во дворах и в садах стояли немецкие солдатские кухни, грузовики, пушки, всякое железное снаряжение войны и откуда слышался гул иноземных голосов. Но все это было чуждо художнику, неродственно русским жилищам, яблоням, местной траве и как бы поэтому несуществующим. Иван Петрович шел мимо полчища неприятеля, как в безлюдье, и ступал осторожно, чтобы не повредить попутно ни почвы, ни былинки и не тронуть раскрытых ворот, ничего не беспокоя на свете в его, быть может, последние часы существования.

Иван Петрович зашел однажды во двор одноэтажного белого дома на Средне-Смоленской улице; в этом доме помещалась школа, в которой учился в детстве Иван Петрович, а среди двора, как в деревне, стоял маленький деревянный домик и в нем жил Артемий Дмитриевич Дёжкин, девяносто семи лет от роду, сторож при школе. Сперва, еще по начальной старости, пол века тому назад, Дёжкин был седой, как все старики, а потом, ближе к ста годам, он стал бурый, точно ржавь пошла по его бороде и волосам, а кожа к этому сроку у него потемнела и стала походить по цвету на торфяную землю. Сам Дёжкин понимал свое положение и, пробуя рукою лицо, говорил: «Великие годы живу, почва уж на теле растет. А жить все одно надо: живется!»

В детстве Коншина, когда он учился в школе, Дёжкин драл его за уши, чтобы мальчик не баловался. Во время перемен учительница уходила в комнату при школе и там отдыхала, а старый Дёжкин, которого все звали Митричем, являлся в класс и наблюдал за поведением детей, чтобы они не шалили, а вели себя, как следует быть, как взрослые. Но изредка Митрич бывал не строгим, а добрым, и тогда он говорил: «Балуйтесь, ребята, не слушайте меня, вы кто же такие будете из себя? — вы ведь дети, вы черти и ангелы, а я доживе живу, глядите только, училище огнем не спалите, тогда драть буду!...»

Выросши большим, Иван Коншин сохранил свое знакомство с Митричем и ходил иногда к нему в гости. Митрич был полон воспоминаний за свою

вековую; он обладал талантом правильной подробной памяти, и это чувство памяти уже отягощало его жизнь и делало трудным для него дальнейшее существование; он старался забыть минувшее, прожить текущий день, не упомнив его, и не мог этого сделать, потому что привык жить внимательно и принимал жизнь за благо, где ничего нельзя оставлять в пренебрежении. Для Коншина Митрич был не только старшим другом, но и живой книгой, библией родного города. В живой мысли и чувстве этого давнего человека было запечатлено то, что исчезло для всех, что забыто многими и что, однако, незримо пребывает в мире. Митрич помогал Коншину увидеть живое и важное в том, мимо чего художник ранее мог пройти равнодушно.

Старик один раз поднял подкову в дворовом бурьяне и рассмотрел ее. Такие подковы изготавливали не менее как пятьдесят лет тому назад, ими ковали лошадей для дальней и жесткой дороги. По шипам, по размеру, по роду металла и по всей системе подковы Митрич рассудил, что эта подкова не иначе как с той лошади, которая ходила в шестерике в упряжке дилижанса. А дилижанс тот ходил от Воронежа до Задонска, а прежде и далее Задонска — до Ельца, до Липецка, до самого Орла... Это было еще до железных дорог, когда по русским степям мчались терпеливые, скорые кони, запряженные в дилижанс, в брички, в тарантасы, в кареты; в экипажах сидели большие богатые, знатные или государственные люди, а простой человек шел пешком по обочине дороги, неся в суме за плечами хлеб, а на груди под крестом у него были спрятаны в мешочке медные деньги, — и шел этот человек не ближе того, куда бежали лошади мимо него: в Москву на заработки, в Киев богу молиться, в Сибирь — посмотреть землю на переселение, в Петербург — проведать сына-солдата в Преображенском гвардейском полку, — мало ли куда надо ходить простому человеку, ему нужды и заботы больше, чем богатому и знатному, поэтому он и ходил по свету еще дальше, чем ездили господа на перекладных.

— Я, когда малым был молодым, — рассказывал Артемий Дмитриевич Дёжкин, — видел тоже такие добрые подковы. Меня тогда еще в дворники отец определил на Московскую улицу. Там постоянный двор Иван Саввич держал, у него и продажа была при дворе — те же подковы, победнее, правда — крестьянские, гвозди, лыко, веревка, что кому надобно... И харчи были — горячая пища, постная и скоромная, как нужно по времени. Иван Саввич сам, бывало, щи соберет и пшено в котел на кашу положит, а я, что же, я дров на печь наколю и пшено промою в трех водах.

— Это Иван Саввич Никитин был? — спросил его тогда Коншин.

— По паспорту Никитин, а звали тогда не по паспорту, а по отцу — Саввич и Саввич. Как же иначе!

— Он стихи писал, Артем Дмитриевич.... Вы знаете?

— А то как же: «Вырыта заступом яма глубокая». Дворники все знают, как прежде, так и нынче. Да некогда ему было заниматься, томно ему было. Это я бы стерпел такую жизнь, а он нет. Оттого он и был, как не свой, — то сердитый, то добрый, — неровно жили грудью бедствовал, от груди и умер. Я-

то уж в ту пору не жил у него, я у другого хозяина жил, на колокольном заводе...

Артемий Дмитриевич имел близкое или даже родственное отношение почти к каждому жителю старого города и каждому дому. Поглядев на скамью у дома где-либо в Ямской слободе или в Троицкой, он вспоминал людей, с которыми когда-то сидел здесь в праздничные дни: сапожников, печников, плотников... Скамья осталась, истертая сверху, а людей уже нет — они прожили свое, потрудились на свете. Дёжкин и к Петру Великому имел свое отношение.

— Прадед мой Демьян Степанович у одного этого Петра Великого двадцать семь годов в войске прослужил, — говорил бывало старый Дёжкин, — он и на Капканчиковой мойке* в работе был, а потом все кампании и по воде и пешим прошел — и на Азове был, и под Швецией, святого Митрофания сам видел, когда они с Петром по берегу реки ходили и размышляли, как быть всему государству. Митрофаний любил Петра Великого, и прадед мой любил его, даром что от царя народу покоя не было...

Иван Петрович Коншин давно уже не видел старого Дёжкина; еще до войны он посетил его в последний раз, когда рисовал себе на память его портрет... Художник застенчиво вошел в бревенчатый домик; дверь его была открыта, изнутри не слышно было ни голоса, ни звука.

На столе посреди чистой теплой горницы лежал мертвый Артемий Дмитриевич Дёжкин, уже обмытый и убранный по обряду, по старым правилам. Возле покойника на табуретке сидела младшая сестра скончавшегося, Евдокия Дмитриевна; она знала Коншина и, увидев его, запричитала по брату. Отошедши затем от своего горя, она сказала Ивану Петровичу, что покойный и еще бы пожил, да настало лихолетье, в избу явился неприятель, обидел человека черным словом, и Артем Дмитриевич не захотел более жить; он позвал ее, сестру, к себе, простился с нею, потомился два дня и умер, сказав только: «Мне пора, Дуня, — не два века жить, а один я прожил, всего повидал — и доброго, и злого — спасибо родителям, что на свет родили и дали пожить...».

Художник простился с Митричем, поцеловал его в лоб и ушел из старого деревянного домика, запомнив мирное лицо умершего.

Возвратившись домой, Иван Петрович сел рисовать, пока еще было светло. Он рисовал теперь каждый день; для этого он пользовался только черным рисовальным карандашом и тетрадью с толстой белой бумагой. Иван Петрович не стремился к точному подобию образа, он даже не считал себя настоящим художником, потому что всю жизнь рисовал только вывески или макеты для наклеек на бутылки с квасом, уксусом, настойками и чернилами, или изображал цветы на ставнях и крыльце вновь отстроенных домов, — но Иван Петрович хотел сохранить для будущего, для неизвестного ему доброго зрителя прелестную сущность людей и предметов своей родины, их свободное ощущение счастья своего существования. Он рисовал все, что увидел за день, чтобы изображенное им осталось в сердце, в памяти и в совести тех, кто будет жить после, чтобы незабвенен был непрерывно меняющий свое лицо

умирающий и рождающийся мир; и главное — чтобы великий родной город его, который враг уже палит огнем, остался в истинном своем образе, дабы те, кому назначено его воскресить к прежней жизни, могли судить о его живом лице. Художник заботился и об этой пользе своей работы. Он ничего не хотел оставить в забвении, что может быть разрушено, умерщвлено или сожжено. Художник изображал человека, еще сидящего у своего дома, но обреченного на рабство и смерть на чужбине; он рисовал девочку трех лет Ксению, дочь плотника, которая глядела глазами на свет, держась за юбку матери, ничего не понимая в нем или все понимая, но не умея сказать об этом. Он не забыл и воробья, живущего на его дворе, и нарисовал его лицо с натуры из-за окна, когда воробей долго сидел спокойно, не замечая хитрого человека; далее он написал фигуру дерева на улице и тело неведомого камешка, лежащего под тем деревом: кто же вспомнит этот камешек, хотя он и входит во всемирный инвентарь природы, кроме него, художника.

День ото дня Иван Петрович работал все более поспешно, но всего, что нужно было оставить на вечную память, нарисовать не успел. А вскоре он и вовсе перестал рисовать.

Враг немец начал взрывать старые вековые здания в городе, равно как и новые сооружения и жилища. Взорван был Университет, помещавшийся в старинных мощных зданиях, и теперь лишь сугробы каменно-кирпичной щебенки остались на месте домов и садов Университета. Этот Университет, перемещенный некогда на время из Юрьева-Дерпта и оставшийся в Воронеже навсегда, давно уже стал научным центром для всей области и любимым домом юных поколений людей, почувствовавших своим жизненным призванием науку. Сам Иван Коншин слушал когда-то в Университете курс философии, который читал профессор Озе; он тогда хотел понять тайный образ или главный общий рисунок мира, по которому он построен, существует и длится во времени.

Разрушен был завод имени Ленина, делавший точные мощные машины — двигатели Дизеля; подорвана под фундамент и пала на землю металлическая водонапорная башня, стоявшая посередине города; горели и взрывались библиотеки, школы, типографии, тысячи домов, где жили до войны труженики.

Однажды всю ночь неприятель взрывал цех за цехом паровозный завод имени Дзержинского. Коншин всю ночь слушал взрывы, глядел на отсветы пламени, мгновенно возникавшие в небе, и чувствовал, как, одновременно с погибавшими зданиями, заводами, башнями, в нем тоже умирало что-то в сердце. То, что погибало теперь в городе, существовало и само по себе и внутри человека, который строил эти сооружения, давал деньги на них по налогам и займам и тем срастил их со своей судьбой.

Каждый день и каждую ночь художник Коншин ощущал, как с умерщвлением Воронежа по частям отнимается у него жизнь. Особенно ему страшно стало после разрушения завода Дзержинского; на этом заводе работал его отец, там же работал в молодости и сам Коншин в малярном цехе.

С этого завода началась новая история Воронежа и всей области, потому что на заводе Дзержинского — тогда железнодорожных мастерских — образовался некогда очаг рабочего революционного движения, там был первоначальный материнский источник пролетариата. Еще будучи мальчиком, Коншин слышал знаменитого рабочего оратора Карякина; он помнил до сих пор, как заседали за дверью из матового стекла в конторе сборочного цеха выборные рабочие — первое собрание делегатов, первый совет рабочих депутатов, еще не определивший своего названия. Это было в 1905 году.

В ту ночь, когда разрушался завод Дзержинского, Коншин почувствовал свое сиротство и первый раз заплакал. Наутро он пошел к Митрофаньевскому монастырю, откуда далеко виден и юг, и восток, потому что монастырь стоял на высоком берегу реки, на самом высшем месте города. Из-за того, что отсюда так далеко видна степь, древнее дикое поле, из-за того, что река опоясывает это возвышенное место и охраняет его, а главное — ради того, чтобы оберегать старую русскую землю и Москву, лежащие позади на севере и западе, и был создан некогда Воронеж. В диком поле жили тогда кочевники, набегавшие на Русь, и город был поставлен здесь сторожем и воином против них.

До Петра Первого город жил, не меняя своего первого назначения; он следил за вольною степью, чтобы лихие люди степи не сложились в силу, опасную для Московского государства; однако шло время, и купец постепенно замещал солдата, — в огороже военного поселения появлялось все больше ворот для торговли со степными кочевниками: отсюда на Москву шел из степи скот, а в степь, в обмен, поставлялись льняные товары, шорные изделия, прялки, серпы, предметы оседлого ремесла, железные товары и другие произведения старинных русских кустарей и мастеров. Приучая кочевников к торговле, русские поселенцы отучали их от войны и вражды.

Потом наступило время Петра Первого. Воронеж понадобился Петру как место, где можно удобно и скоро построить флот для похода на Азов. В те времена вокруг Воронежа произрастали мачтовые корабельные леса, и до сих пор еще сохранились остатки их — Шипова и Теллермановская рощи, — а реки Воронеж и Дон были тогда судоходными и способными нести суда с большой осадкой. Построив в Воронеже верфь, Петр вызвал к хозяйственному развитию весь Воронежский край. Для того чтобы построить флот, потребовалось устроить заводы, фабрики, мастерские — литейные и железоделательные, канатные, суконные, смольные, кожевенные, оружейные, — потребовались тысячи искусных людей; нужны стали дальние дороги для быстрого сообщения с Москвою и старыми городами России: Воронеж был преобразован и наступило новое время в его существовании. Флот ушел на Азов, постройка кораблей в Воронеже прекратилась, а в Воронеже остались тысячи искусных мастеровых и торговых людей, служивших на постройке флота, остались предприятия, годные к работе, которые начали производить товары для мирного рынка. Наступила долгая эпоха, уже вторая в истории города, которая закончилась лишь в 1917 году.

Во время революции Воронеж был преобразован мощной силой нового исторического класса — и это его преобразование было несравнимо с прежними изменениями в жизни города, за все без малого четыреста лет его существования. Воронеж из города амбаров, складов, мукомольных мельниц и кустарных мастерских, из города хлебных торговцев, прасолов, мелких промышленников, дворян, чиновников стал городом новых могучих заводов, городом науки и культуры, городом многочисленного рабочего класса и учащейся молодежи, столицей обширной черноземной области, края изобилия, где произрастают не только рожь, капуста и картофель, как было встарь, но и пшеница, и виноград, и каучуконосные растения, и сотни других культур. Где в петровские времена производились пеньковые канаты и варилась смола, в нашу эпоху делают дизель-моторы и радиостанции, паровозы и электрические машины; где в старину сидели за часословом и арифметикой немногие ученики, принужденные учиться по петровской разверстке, ныне со страстным молодым разумом работают над книгой в библиотеке, с прибором и над препаратом в лаборатории тысячи студентов Университета и Сельскохозяйственного института, второго по своему значению в Советском Союзе после Московской Тимирязевской Академии.

Все это было лишь вчера...

Коншин не мог поверить, что город погибает, не мог поверить потому, что не изжила себя та сила, которая создала его, и под большим шатром голубых небес жила все та же вековая, тихая и могучая Россия. Иван Коншин направился на Новостроящееся кладбище, где находилась могила Алексея Кольцова. Он хотел успокоиться духом и получить утешение возле самого большого и вдохновенного человека, жившего когда-то в Воронеже.

Художник долго пробыл у могилы поэта. Враг зажег город, и огонь, зачавшись в слободах, окружил Воронеж, сная и его внутренние части. Гарь и дым застлали город, и трудно было без вреда для жизни пройти по улице. Коншин до вечера находился у могилы поэта, не зная, как ему жить, когда город умирает в пламени.

Пожар продолжался и в ночь, но Коншин пошел сквозь дым к своему двору. Дом его, и улица на Чижёвке погорели, лишь один кирпичный дом портного Авдея Спиридоновича сохранился. Туда собрались все окрестные бездомные русские семьи, и туда же пошел и художник. Горе было всеобщим, поэтому к утрате своего жилья, и всего добра в нем, и тетради с рисунками Коншин остался равнодушным. Он надеялся, что в России осталась прежняя материнская сила, и тогда все, что умерщвлено и погибло, воскреснет и возобновится вновь, и в еще более совершенной форме.

На следующий день пожар города угас. Художник вышел на место, где была улица, и увидел, что разнообразный цвет жизни и всяких предметов, к чему привык всякий человек, сошел с лица мира, и все стало серым, хотя и светило солнце на небе.

В тот день дул ветер, раздувая еще не остывший жар в золе и разнося пепел в пустом пространстве. Художник пошел к своему дому и обошел его вокруг кирпичного фундамента, который остался после огня. В промежутке меж

кирпичной кладкой он заметил слабую молодую ветвь какого-то растения; прежде Иван Петрович никогда не видел этой ветви, что зачалась и жила в камне сама по себе. Она была спалена пламенем, но живая защитная влага выступила на ее тонком теле, и ветвь еще не умерла. Ее рвал ветер, палило пламя, но ветвь должна противостоять гибели и одновременно разрушать камень своими живыми, еще неокрепшими корнями, чтобы питаться из самой его скудости, расти и усиливаться, — другого спасения нет. Эта слабая ветвь должна вытерпеть и преодолеть и ветер, и огонь, и камень; она единственное живое здесь, а все остальное — уже мертвое, и, быть может, эта ветвь прорастет сквозь камень в почву и когда-нибудь ее обильные разросшиеся листья наполнят шумом опустевший воздух, и буря в них станет песней.

Коншин погладил ветвь.

— Живи, — сказал он ей; он был рад, что она существует и подобна ему.

В тот же день в дом Авдея Спиридоновича пришли три немецких автоматчика и приказали всем — и старым и малым — уходить из города вон, уходить навсегда в немецкую сторону.

Авдей Спиридонович попрощался со старой женой и сказал:

— Я в этом доме родился, тут прожил жизнь, милее мне места нету. Я никуда из родного дома не пойду.

Он лег на кровать и отвернулся лицом к стене. Один немец поднял автомат и поразил человека насмерть, на глазах у всех.

Иван Коншин, бывший здесь среди своих земляков и старых друзей, забыл себя и, бросившись сзади на стрелявшего немца, обхватил его за горло, рванул к себе назад и упал вместе с врагом. Другие два немца подняли оружие на Коншина, ожидая, когда их товарищ встанет на ноги, чтобы не попасть в своего. Серега, внук сапожника, вскрикнул радостно по-дурацки и схватил руками ближнее к нему дуло автомата. Немец, не вырывая своего оружия, выстрелил очередью в живот Сереги, и тот упал, но не отпустил автомата и потащил за собой немца. Кузнец Кузьма Воронков стоял до того в стороне, загородив собою дрожащих детей, своих и чужих; он укладывал в мешок инструмент — малые тиски, клещи, молоток, разводной ключ — на случай, если придется уходить, чтобы немец не погубил детей. Сейчас, увидев убийство, Воронков передумал — он выхватил клещи обратно из мешка и разmozжил ими голову ближнего немца, того, что нацелился в Коншина, а затем тут же расшиб голову второго врага, который убил Серегу. Третьего неприятеля порешили прочие люди — на него сразу навалились Данил Данилович, плотник и слесарь, пока враг выпрастывался из рук Коншина, державших его с оцепеневшей силой.

Еще четыре часа держались в каменном доме Коншин, Воронков и плотник со слесарем. Детей и стариков они поместили в подполье под домом, а сами отстреливались из немецких автоматов от прибывшего к дому охранного отряда. Они жили и дрались одни среди погоревшей родины, и Коншин убил двоих немцев, когда немцы с ходу хотели ворваться в дом. Но плотник под конец оробел, или детей ему своих стало жалко, он близко подпустил троих

немцев, не выстрелив в них заблаговременно, и они бросили в дом гранату. Осколками убило Воронкова и плотника, а Коншина и слесаря лишь легко поранило. Тогда Коншин, не желая, чтобы враг бил по дому еще, потому что в его подполье береглись дети и старые люди, вышел наружу, залег там в обгоревшую яму и стрелял еще немного, как видел немца, пока диск автомата не пошел вхолостую. Затем он увидел бегущего на него большого немца и поднялся ему навстречу, чтобы драться врукопашную. Немец набежал на него, тяжело дыша, и выстрелил почти в упор. Кто умирал в бою, кто в яростной энергии своего сердца ощущал вплотную живого врага, тот знает, в какой беспомощности, в каком ужасе остаются после него земля, погоревшие дома на ней и живые люди, которых погибающий не успел или не смог защитить. Таким остался весь видимый мир в последнем сознании Ивана Коншина, когда дыхание его враг пресек огнем, и он упал на обгорелую черную траву возле дома Авдея Спиридоновича. Ему показалось тогда, что вместе с ним погибает вся жизнь на свете и больше ничего не будет, и с этим последним убеждением Коншин утратил память.

Немцы, видимо, оставили Коншина как мертвого.

А спустя долгое время, уже после освобождения города, Коншин оправился в госпитале от ран, и он вспомнил тогда то мгновение своей жизни, которое он считал предсмертным, и понял важность своего существования. Пусть это ему лишь показалось, что весь мир стал жалким и слабым без него, что он не уцелеет без его помощи и также погибнет, однако видение сгоревшей, обезлюдившей родины, нуждающейся в каждом своем сыне-солдате, как вопль вошло в его душу в предсмертную минуту и неподвижно осталось в нем....

Вновь очнувшись к жизни, сразу постаревший, Иван Петрович не стал, однако, жить как инвалид и старик. Его и посейчас можно видеть в Воронеже работающим на разборке взорванных, разрушенных зданий. Вместе с женщинами и подростками он выбирает цельные кирпичи и складывает их в штабели, чтобы из них снова можно было строить. Старая, бессмертная надежда согревает его сердце, — надежда, что несправедливо погубленное и погибшее обязательно вновь возникает на свете, и возникает в более совершенной и прекрасной форме, чем существовало прежде.

** Капканчикова мойка — позднее название, когда она стала шерстомойней верфи Петра Первого на р. Воронеж, где строился азовский флот.*

